

Тиражированное многими миллионами школьных хрестоматий, зачитанное до дыр стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», по давней литературоведческой традиции, которую мы нарушать не будем, называемое «Памятником», на мой взгляд, далеко еще не исчерпало своего смысла при прочтении. Возможно, такова судьба любого гениального произведения, чей смысл практически неисчерпаем. В предлагаемом читателю фрагменте из моей работы об этом стихотворении речь идет о его первой строфе.

Она была напечатана Жуковским, которому выпало провести в печать после пушкинской гибели не опубликованные при жизни поэта произведения («Памятник» оказался одним из них), в таком виде:

Я памятник себе воздвиг
нерукотворный,
К нему не зарастет народная
тропа,
Вознесся выше он главою
непокорной
Наполеонова столпа.

«...в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты...» — писал Жуковскому Гоголь, очевидно, знакомый с подлинным пушкинским текстом. Со временем справедливость была восстановлена — строчке вернули пушкинское слово: «Александрейского столпа».

Однако за несколько десятилетий, пока «Памятник» печатался в редакции Жуковского, успело сложиться устойчивое представление о том, что, несмотря на им самим произнесенное слово «нерукотворный», Пушкин создает в стихотворении образ вполне рукотворного — мате-



«Вознесся выше он главою непокорной...»

риального изваяния — собственного памятника, соотносенного с другим рукотворным изваянием — памятником французскому венеценцу. Так что когда открылось, что столп у Пушкина Александрейский, пушкинское изваяние стали соотносить с Александровской колонной, поставленной в Петербурге как раз незадолго до гибели поэта.

Тем более что сооруженная в честь Наполеонова победителя и спроектированная в подражание меньшей ее по размерам Вандомской колонне (Наполеонова столпа) Александровская колонна была в то время самым высоким европейским памятником — 47,5 метра. Ясно, что слова «вознесся выше он...» наполнились для многих куда более зримым, осязаемым смыслом, чем прежде.

Как и «главою непокорной». Ведь именно Александру обязан был поэт своей ссылкой, откуда вернулся несломленным.

Однако все это логическое построение рушится, потому что основано на грамматической неловкости, на некоем насилии над русским языком, по правилам которого, как давно уже указано отечественными (М. П. Алексеев, С. М. Бонди) и зарубежными (А. Грегуар) пушкинистами, слово «Александрейский» не может быть произведено от имени «Александр», но только от названия города — «Александрия». От Александра будет «Александров», «Александровский».

Так и называл Пушкин новый памятник, записав в своем дневнике 28 ноября 1834 года: «Я был в отъезде — выехал из Петербурга за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтобы не присутствовать на церемонии с камер-юнкерами...» И также не расходясь он с русской грамматикой, описывая Александрию и ее «Александрейские черты» в наброске, который исследователи связывают с «Египетскими ночами».

Ну, а великий Жуковский? Правдоподобно ли, что он, великолепный стилист, мог быть нетвердым в русском языке? Можно ли согласиться с С. М. Бонди, допускающим, что «Жуковский, видимо, вполне основательно считал, что по соседству с выражением «главою непокорной» сочетание «Александрейский столп» будет вызывать у читателя образ недавно открытого в Петербурге памятника Александру Первому...? Могло ли такое прийти в то время в голову любому грамотному человеку? Конечно, не могло.

Почему же тогда Жуковский не оставил пушкинской строчки нетронутой?

Мне кажется потому, что не понял пушкинских побуждений, связанных в стихотворении с Александрейским столпом.

Что он там означает, Жуковский наверняка понял. Ведь он помнил, разумеется, что пушкинские предшественники — римлянин Гораций в своей оде «К Мельпомене» и наш Державин, подражающий римлянину в своем «Памятнике», возносились выше пирамид, которые были объявлены в древности одним из семи чудес света, — и, конечно, догадался, что и Пушкин говорит об одном из таких чудес: о высоченном маяке — Фаросе Александрейском. Но особенности поворота пушкинской

Геннадий КРАСУХИН

мысли, ее резкого отличия от мысли пушкинских предшественников Жуковский, очевидно, не уловил. Должно быть, он и в пушкинском стихотворении увидел привычную схему, не изменившую сути от замены одного памятника другим.

Формально он ее и не тронул: поставил на место одного памятника другой — заменил древнейший новейшим и тоже прославленным — Вандомской колонной, бывшей после Александровской самой высокой в Европе — 46 метров. Но выгоды от такой замены публикатор достигал несомненной: движимый желанием реабилитировать Пушкина в глазах правительства, он добивался своего — тем более что пушкинский патриотизм был хорошо известен. Получалось, что именно эту свою черту воплотил покойный поэт в стихотворении: его вознесшийся над Наполеоновым памятником оказался символом России, русских, которых Наполеон не смог покорить.

Однако в каком бы выгодном для него свете ни представляла Пушкина редактора Жуковского, она нанесла очень чувствительный ущерб его стихотворению. Не только потому, что Пушкин не писал о Наполеоновом столпе, но потому еще, что он не писал и об Александровом, к которому повели следы, подсказанные правкой Жуковского и вроде подтвержденные его переключкой с пушкинским «Александрейским столпом».

Французский филолог Анри Грегуар, передавая в своем переводе «Александрейский столп» в значении «Фарос Александрейцев», не стал, однако, на своем настаивать, а указал в комментариях еще на один александрейский памятник, который якобы мог иметь в виду Пушкин, — на Помпееву колонну.

И этим еще больше запутал дело. Открыли (М. П. Алексеев), что в одной книге, изданной в России в 1809 году, Помпеева колонна названа «столбом Александрейским», и стали на полном серьезе обсуждать шансы памятника Помпею Великому в пушкинском стихотворении.

Будто бы даже, если Пушкин вычитал и запомнил понравившееся ему выражение, он был обязан навсегда сохранять его совершенно определенной содержательности! Будто «Александрейским столпом» нельзя назвать любой александ-

рийский памятник внушительных размеров — тем более такой, как Фарос, неправдоподобно для того времени высокий — 300 локтей (около 140 метров)!

Думается, что он вошел в пушкинское стихотворение не только благодаря своей громадной величине. И не только потому, что куда красноречивей египетских пирамид свидетельствовал о бренности и недолговечности любого строительного материала по сравнению со словом (пирамиды сохранились в пушкинское время, существуют они и сегодня, тогда как легендарный александрейский маяк много веков назад исчез с лица земли). Думается, что Пушкин обратился к нему еще и потому, что тот был светонесущим, что он с огромной своей высоты, из громадного своего далека помогал людям ориентироваться во тьме и в безбрежном пространстве. Вот каким качеством сопоставлено с ним искусство, чью «нерукотворную» светонесущность Пушкин уверенно провозглашает «выше» рукотворной.

Займствовал ли он слово «нерукотворный» из восьмистрочной стихотворной надписи к подножию петербургского Фальконетова памятника Петру, сочиненной Василием Рубаном, на что впервые указал И. Л. Фейнберг? Очень возможно. Во всяком случае, эта надпись прославила имя незначительного стихотворца XVIII века.

Точнее, не его имя прославила, а на себя обратила внимание именитых. Например, Мицкевича, который публично объявил о том, что взял из нее строчку для своего стихотворения, присовокупив при этом, что не помнит имени ее русского автора. Пушкин помнил. «Смотри описание памятника в Мицкевиче», — пишет он в примечаниях «Медного всадника». — Оно

займствовано из Рубана, как замечает сам Мицкевич».

Но даже если и перенес Пушкин из Рубана в свой «Памятник» слово «нерукотворный», он придал ему значение прямо противоположное тому, какое оно имело. У Рубана оно связано с куском скалы: «Нерукотворная здесь Российская гора». К тому же в его стихотворении нерукотворность унижена: «пала под стопы Великого Петра». Пушкинский нерукотворный памятник высится над Александрейским столпом «главою непокорной».

Любопытно вспомнить, что за девять лет до «Памятника», в 1827 году, Пушкин писал о поэте, который «К ногам народного кумира Не клонит гордой головы». Как окрепла и возмужала мысль Пушкина! Ведь гордость действительно внешне похожа на непокорность: обе — каждая по-своему — утоляют потребность человеческой души осознать себя, свою суверенность, свою самость. Но одно дело, когда осознавший свое предназначение человек твердо ему служит, не давая сбить себя никаким отвлекающим обстоятельством, которые потому над ним не властны, что он им непокорен, — и совсем другое, когда душа человека охвачена гордыней.

Недаром Пушкин почти одновременно с «Памятником» создает оставшееся в рукописи четверостишие, которое начинается чрезвычайно характерно: «Напрасно я бегу к сионским высотам». Ведь достичь сионских высот можно только праведной жизнью. Однако все праведные усилия героя пушкинского четверостишия сводит на нет «грех алчный», который «гонится за мною по пятам» и который уподобен голодному льву, неутомимо, неостановимо следующему за добычей. А лев — древнейший символ человеческой гордыни.

И пушкинский «Памятник» запечатлел состояние человека, чья душа тоже возжаждала сионских высот и поднимается к ним, не обремененная ложными ценностями.

Этим написанный 21 августа 1836 года на даче Каменного острова «Памятник» связан и с другими написанными на той же даче за неделю месяц-два до него стихотворениями — с так называемым «каменноостровским циклом», показывающим, с какой настойчивостью стремился Пушкин в то последнее в его жизни лето воздать по заслугам каждому человеческому побуждению, понять истинную цену каждого движения человеческой души.

Он даже патетически воскликнул: «Вот счастье! вот права...» — закончил так одно из стихотворений («Из Пиндемонти»), где размышлял о том, что человеку дано, что он может, где восхитился тем, что дано человеку, что может человек. Он не противоречил себе, всего два года назад утверждавшему: «На свете счастья нет, а есть покой и воля», но дополнял, уточнял, корректировал себя.

Ибо о какой «завидной доле» мечталось ему тогда — два года назад? — «Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нег».

Два года спустя внешние обстоятельства его жизни не стали лучше. Наоборот. Его письма, письма к нему, свидетельства о нем современников показывают, как невероятно трудно жилось Пушкину в 1836-м — труднее, чем когда-либо.

Но в стихах 1836 года, в его «каменноостровском цикле» он себя усталым рабом не называет и не выказывает. Он осуществляет в них те самые планы, которыми делился с читателем, доверительно сообщая ему: «замыслил я побег». Он превращает эти планы в жизнь, открыв, что вовсе не вонне человека существуют вожденные им «покой и воля». Он осваивает их душу, побуждая ее взлетать «в обитель дальнюю трудов и чистых нег» — в ту дальнюю обитель, где его душе — «вот счастье! вот права...» — не могут помешать никакие внешние обстоятельства, где они бессильны ее оскорбить.

«Никому Отчета не давать, себе лишь самому Служить и угождать, для власти, для ливрей Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шей...»

Сказав: «Для власти, для ливрей», Пушкин обозначил так не столько административную или служебную зависимость человека, сколько приверженность к определенным конкретным порокам, которая не даст человеку «себе лишь самому Служить и угождать» — не позволит ему исполнить свое предназначение. Речь идет о прячемся в человеческой душе властолюбии и о душевном лакействе, тоже предпочитающем, чтобы его не обнаружили. И если лакейство скрывается, так сказать, от внешнего глаза, потому что внутреннему оку оно открыто: ощущать рабскую зависимость от других болезненно для души, то угнездившемуся в человеческой душе властолюбию не так уж трудно ее обма-

нуть — заполнить ее ожиданием благодарности в ответ на ее благой вроде порыв, доброе вроде отношение к ближнему, коль скоро он от тебя зависит. Ведь заполнить душу таким ожиданием можно не иначе, как вытеснив из нее бескорыстие — одно из тех драгоценнейших качеств, которые, как сказал в другом своем «каменноостровском» стихотворении Пушкин, даны человеку, «чтоб сердцем возлетать во области заочных».

«Во области заочных» возлетел нерукотворный пушкинский памятник, не согнувшийся «ни совести, ни помыслов, ни шей»; он вознесся своей светонесущей «главою непокорной» выше Александрейского столпа, о котором и в пушкинское время сохранялись воспоминания как о самом мощном из всех сооруженных когда-либо людьми источников света.

И не только выше рукотворного светильника возлетел пушкинский памятник. Он оказался выше нерукотворного в том значении этого слова, в каком мы встретили его у Рубана, — в смысле: сотворенного природой. Пушкин воздвиг себе памятник в полном соответствии с представлениями народа, закрепившего их в своей, записанной В. Далем, пословице: «Свет плоти — солнце, свет духа — истина».

Пушкин идет за народом, который очерпывающе охарактеризовал свойства двух самых мощных мировых светильников: солнце — свет плоти, истина — свет духа — и этим как бы ограничил круг не тех, для кого они светят, но тех, кто может различить их свет. Точнее, тех, кто воспринимает истину, ограничения не коснулись: ее дано увидеть даже слепорожденным.

Нерукотворный — духовный, духоносный пушкинский памятник освещает людям путь к истине.

И потому — «К нему не зарастет народная тропа».

Эта пушкинская уверенность начнет собою тему, которая станет основной, центральной, заставляя свидетельствовать о себе каждую строфу стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

